

Общая газ. - 1996 - 15 февр - 3

НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ



Я так определяю жанр, в котором работаю, — история чувства. Мой факт — чувство! От книги к книге складывается энциклопедия чувства, внутренней жизни людей моего времени.

Романтики рабства

Пишу энциклопедию чувств тех поколений, которые я застала на излете, тех, что прошли рядом со мною, и тех новых, чей приход, надеюсь, я еще встречу... Получается одна юенга о том, кто мы были, что называли добром, а что злом. Как любили. Почему убивали друг друга...

На экране телевизора я изо дня в день вижу, как выходят из домов, похожих на тот дом, в котором я жила, люди. Знакомые лица, знакомая одежда. Такие лица, одежду я каждый день встречаю на улицах... И тут же вижу на том же экране: лежит распоротый ножом или осколком такой знакомый человек. Вижу кровь. Вижу убитые дома. И убитых животных. Это так рядом... Это не отдалено от меня даже графика архивных снимков другого времени. Часто охватывает отчаяние. Отчаяние бессилья слова. Ты видишь, что миф для многих, для большинства по крайней мере правдивее и сильнее фактов и самого мистификации жизни, самосохранения. Когда я сижу за письменным столом, я стремлюсь не только записать, восстановить, воссоздать действительность — хочу прорваться словом куда-то дальше. Чтобы это была и правда времени, и какая-то догадка о человеке вообще. Прорваться дальше. Куда дальше? Дальше слов... Это редко удается. А вот миф туда прорывается. В подполье...

И когда мать, у которой государство забрало сына и вернуло его в цинковом гробу, мостуленно, молитвенно кричит: «Я люблю ту Родину! За нее погиб мой сын! А вас и вашу правду ненавижу!» — снова понимаешь: мы были не просто рабы, в романтики рабства. Только одна мать из тех ста, с которыми я встречалась, написала мне: «Это я убила своего сына! Я — рабыня, воспитала раба...»

Коммунистические, национал патриотические газеты зовут людей на митинги под красные знамена. Но было бы слишком просто, если бы во всем были виновны только политики. Море крови позади, бесчестно перекопана земля для братских могил. А палачей нет. Никто не признает в себе палача. Все жертвы... Один говорит, что любит Родину, все делал во имя Родины (пусть она и отвечает — не потому ли столько слов о любви к ней?). Другие говорят, что были кровь во имя идеи. И не знаешь, чего здесь больше: страха перед покаянием или неспособности к свободе? Принадлежать, отдаваться власти, государству, раствориться, исчезнуть в нем — форма существования религиозного и военного общества. Мы были и тем и другим (если под войной, под религиозной понимая марксизм как светскую форму религии). А то, несколько мы — военные люди, насколько наши представления о жизни и смерти — военные, и не догадывались,

Когда-то я была убеждена, что в правде надо идти до конца. И когда мне надо было написать, как после взрыва итальянской мины, красивой, как игрушка, от человека остается полведра мяса, я колебалась — надо или не надо это писать? И все-таки решила: надо! Идти надо до конца. Потому что чем проще и обычнее убивали люди, тем значительнее человеческая жизнь должна быть в искусстве, — говорила я себе. Сегодня, сей-час — я колеблюсь. Я не знаю... Я сомневаюсь... Не находимся ли мы у роковой черты? Дальше — саморазрушение.

Я снова возвращаюсь к суду над своей юенгой, но только потому, что это был сплелок с тысячами душ. Когда десятки людей на улице возле здания суда становились в непримеримой словесной свистке, это тоже была война. И она идет до сих пор. Нам не нужна свобода. Мы не знаем, что это такое. Что с ней делать? В нашей истории нет ни одного поколения без военного опыта, без опыта убийства, а с опытом просто жизни. Мы или воюем, или вспоминали о войне, или готовились к ней. Мы никогда не жили иначе. Ко всему еще мы — артефакты, соборные люди. Не умеем жить отдельно... И отвечать каждый за себя, за свои грехи. Никогда так не жили...

Так о каком поколении и ощущении мы можем говорить? Хорош поэт на праздниках или в военном строю. А кажутся надо в одиночку...

В страдании человек велик, а без него он часто просто мал. Я помню, как одна из моих героинь юенга «У войны не женское лицо» потрясла меня рассказом о том, как страшно было видеть после боя убитых — и тех, и других... Молодые... Они лежали рассыпанные, как картошка... Когда я дала почитать этой женщине ее же рассказы, она все перевернула и краснела мне отчет о своей военно-патриотической работе. «Это, — говорила она, — ты напишешь, а то рассказывала тебе, чтобы ты поняла, как нам было страшно на войне». Она требовала своей правды, такой, как понимала ее. Она хотела просто жизни. Но как объяснить, что это просто жизнь за пределами искусства? И своеволие автора лишь в одном — сделать это искусством.

Но под силу ли искусству весь ужас нашей жизни? Вслед за «афганцами» с войны возвращается «чеченское» поколение. Человек с ружьем кажется вечным. Или наоборот: вечный человек с ружьем...

...Лежат на улице Грозного человек, убитый другим человеком. И в небо смотрит...

Мне говорят: «Поездай и напиши об этом». А я не могу. Не могу уже видеть человека, превратившегося в нечеловека во имя казкой-то государственно-племенных идей. Для меня нет идеи выше одной-единственной человеческой жизни. Мертвый человек... Мертвая птица... Мертвый дом... Во имя? Помочь русские солдатские сапоги в индийских водах... Меч кануть чеченскую нефть... Не болыны ли мы безумцем? Разве нормальный, а не безумный человек может смотреть по телевизору и слушать каждый день по радио об убийствах: «За истинные сунитские позиции федеральных войск обстреляли тридцать четыре раза, трое военнослужащих убиты, один ранен»... «Противник на подступах к городу Гудармасу понес крупные потери». Где-то в далекой русской деревне ёкнуло материнское сердце... Кривоуло... Я была на одном таком похоронках... Хоронили молодого офицера, его привезли из Грозного. Плотное людское кольцо у свежерытой могилы... Военный оркестр... Все молчали, даже женщины не плакали. Выступал генерал... Все те же слова, что и десять, и пятьдесят, и сто лет назад: о наших границах, о великой России, о славе, о ненависти, о долге. О долге убивать?! И только маленькая девочка беззастенчиво и наивно вглядывалась в красный гроб: «Папа! Папочка... Куда ты ушел? Почему ты молчишь? Ты обещал вернуться... Я нарисовала тебе альбом... Папа, папочка, где ты?» Даже военный оркестр не мог заглушить ее детского недоумения. И вот, как зверька, ее отравляют от красного гроба и несут в машине: «Папа... Папочка... Па-а-а...»

Один нормальный человек был среди нас. Рабенок.

А заговор взрослых продолжался. По древним ритуалам... Клятва. Салют. Мы не воюем... А гробы в Россию уже идут из Чечни...

И я пишу о войне...

Общая газ. - 1996 - 15 февр. - 3